

Вместо предисловия

Я никогда не читала Александра Герцена. Ну, кроме «Сороки-воровки» в сборнике сценариев для школьного театра. Можно написать «к стыду своему», но зачем врать-то? Никакого стыда я не испытываю. Как говорил один умный человек, «просто ты читала другие книги». В общем, цитату из Герцена, что писать мемуары может каждый, потому что никто не обязан их читать, я увидела у Александра Городницкого. Так что путеводная звезда для Александра Моисеевича стала за компанию и моей. Я просто хочу рассказать про те самые шестидесятые годы, которые называют «оттепелью» и которые мне повезло не просто застать, а повезло запомнить, пусть даже и в масштабе всего лишь шаговой доступности трёх улиц...

Родилась я в Красноярске в июне 1960 года. Когда кто-то говорит, что ребёнок ничего не помнит до трёх лет, то просто переносит свой склероз на всё человечество. Я помню. Как раз до трёх моих лет мы жили в двухэтажном деревянном доме на улице Ломоносова. Квартира наша имела номер восемь и располагалась направо от лестницы на втором этаже. Лестница была деревянная, с сильно заглаженными коричневыми перилами. Впрочем, перила, как и ступеньки, всегда были коричневые и заглаженные в любом доме и даже в папиной конторе, которую сейчас бы назвали «офисом». Квартира у нас была коммунальная, то есть, кроме наших двух комнат, была ещё одна маленькая комната, где жила девушка с папиной работы. Там была такая теснота, что шкатулка со стеклянными бусиками всегда стояла на подоконнике. Во всяком случае, когда я забредала в гости, меня интересовала только она.

Ещё у нас не было горячей воды, и титан в ванной надо было нагревать дровами, хранившимися в отведённом нам сарае, который мы называли стайкой. Таких стаек во дворе был целый ряд, соответственно числу квартир в наших двух домах, объединённых общим двором, палисадником и плотным забором.

Кухню, казавшуюся мне по тем временам огромной, мы честно делили с соседкой, плотно придвинув наш столик к стенке недалеко от входа. И я точно помню, как залетела на кухню и сшибла

со стола папин стакан с горячим какао. Какао вылилось на меня и ошпарило руку. Помню, как мама с трудом тащила меня в больницу, а бедный папа бегал вокруг нас и уговаривал меня пойти к нему «на ручки». Но я гордо держалась за маму, ведь стакан был папин, и из шума, который надеялась эта история, я уяснила, что именно папа был во всём виноват. Потом в больнице с моей обожжённой руки снимали лохмотья кожи. Судя по пытливым и недоверчивым взглядам врачей, я вела себя героически. Позже, лет после десяти, когда я начинала ныть и жаловаться, мне говорили: «Ты же была такая терпеливая в полтора года!» Так что в том «ломоносовском» хронологическом диапазоне рубеж «полтора года» мне запомнился намертво.

Как-то в Сети выловила тест: «Ответьте на вопросы, и мы скажем, сколько вам лет». Ответив честно, я получила потрясающий ответ: восемьдесят-девяносто. С экрана на меня смотрела благодатная седая бабушка, которой я ещё пока не являлась. Видимо, среди кучи мусорных вопросов был один-единственный, на котором и строился расчёт: «В какое десятилетие вы хотели бы жить?» Да, я хотела бы пожить в шестидесятые годы, а не в «мои восьмидесятые», в годы моего раннего детства, а не замотанной молодости. Именно в тот «ломоносовский» период я уже знала, что такое счастье и к чему надо стремиться. Счастье—это когда ты, взрослая, идёшь по нашей улице в белом платьице чуть ниже колена, а рядом парень в белой рубашке и пиджаке, свисающем с одного плеча! И рядом с тобой такие же взрослые ребята, цветёт черемуха... или ветер замечает тополиный пух... Научиться носить пиджак на одном плече было моей мечтой того времени. Я усиленно тренировалась удерживать на плече кофточку, завидуя тем парням и не понимая, как именно они ухитряются не ронять пиджак при ходьбе.

Наша семья состояла из мамы, папы, моего старшего брата Виталия и меня. Есть фотографии, где мы все вместе гуляем по парку Горького, взявшись за руки, счастливые, счастливые... Как я хочу вернуться в шестидесятые...

Именно тогда, в мой «ломоносовский» период, я пережила своё первое горе. Мне показали фотографию, где Виталик стоит рядом с двумя чужими

девочками в нашей комнате, на фоне нашего настенного ковра. Я горько плакала, повторяя: «Нет у меня больше братика...» Сейчас мне интересно, что я не обвиняла его в «измене», не злилась, а просто смиренно оплакивала свою потерю. Борец из меня, видимо, уже тогда был никудышный...

Совсем недавно была война. Рождённые в 1945-м только-только заканчивали школу. И хотя вокруг постоянно говорили «до войны», «после войны», мне казалось, что война ещё где-то идёт. Сказала же я во втором классе, что мечтаю быть санитаркой и вытаскивать раненых с поля боя. При этом недалеко от нас находился гарнизонный госпиталь, и солдатики в халатах, перекуривающие в палисаднике, казались мне именно теми самыми ранеными бойцами. Да и песня «Вьётся в тесной печурке огонь», которую мы, детсадовцы, распевали для них двадцать третьего февраля, казалась мне очень актуальной.

Ещё одним знаком нашего времени был переход на «новые» деньги. Вернее, говорили именно про «старые» деньги, которые были явно лучше новых. Типа: «А ведь на старые деньги это было бы...» Это всегда означало, что вещь, которую пришлось купить, была жутко дорога («это тысяча рублей на старые деньги!»). И когда в «Брильянтовой руке» Семён Семёныч Горбунков, получив пятьсот рублей двумя пачками, потрясённо спрашивает: «Новыми?!» — это совсем не означало, что его интересует, как давно их напечатали.

Я помню, как счастливый папа принёс домой радио, помню, как надевал его на гвоздь в углу «большой комнаты». Кстати, никаких «залов» и «гостиных» не было и в помине. Были «большая комната» и «маленькая комната», которую тоже никто не называл спальней. Символом достатка нашей семьи был телевизор «Енисей», стоявший на комод в большой комнате. Передачи шли, кажется, только вечером... Почему-то мне запомнились художественная гимнастика (упражнение с лентой) и солдатский хор. Парни в гимнастёрках стояли друг за другом, чуть выставив одно плечо вперёд, и, покачиваясь в ритме, пели: «Когда поют солдаты, спокойно дети спят». И ещё: «Ой, милоч, ой, Вася-Василёк!» Мне чудилось, что они пели именно про моего папу — кто же ещё мог быть Васей?

В том мире эстрады начала шестидесятых была одна таинственная песня, которая позже, в подростковом возрасте, стала для меня наваждением. Она пелась где-то внутри меня, но я не могла вспомнить слова. Но я точно помнила чужую маленькую комнатку с кроватью и радио на стене. Я, совсем маленькая, лежу на этой кровати и слушаю красивый женский голос, летящий из круглой коробки. Я помню, что стена была жёлтого цвета, а комнатка была настолько крохотная, что походила на встроенный шкаф. Только через много лет я услышала случайно: «Ты о чём поёшь,

золотая рожь?..» Да, именно этот голос, эти слова звучали из репродуктора на жёлтой стенке! Могу поклясться, что в семидесятые годы её точно не передавали. Впрочем, её и сейчас не передают. Но иногда звуки и строчки всплывают в моей памяти, и я мысленно оказываюсь в том закутке какого-то чужого дома, маленькая, маленькая...

Наша улица шла почти вдоль Енисея. Во всяком случае, если пойти от угла Ломоносова — Декабристов, то можно было спуститься вниз по деревянной лестнице, выходящей прямо на берег. Красноярскую ГЭС ещё только строили, и Енисей был невероятно, непостижимо широким. Где-то в тумане терялся остров Посадный, а правый берег, простирающийся где-то *там*, казался вообще другим миром. Сейчас есть широченная набережная, а до Посадного можно дойти при низкой воде, замочив брюки только до колена...

Енисей был виден и из окна нашего дома — далёкий, призрачный, туманный. И там, в дымке, виделся железнодорожный мост, сотканный, как паутина, из серебристых струй. Мне говорили, что это просто мост, что он железный и по нему ходят поезда... Он настоящий, он просто очень далеко, и мы не можем сходить к нему, чтобы потрогать его руками. Мечта потрогать его руками возникла у меня в тот самый «ломоносовский» период. Она была чем-то сродни мечте постоять в радуге, появившейся намного позже, но была столь же пленительной и зовущей и казалась столь же недостижимой... Когда через много-много лет мост разобрали и отправили на переплавку, кроме потрясения от этого непостижимого уму варварства, меня давила и моя персональная тоска, тоска по той детской мечте, которая звала меня, трёхлетку, куда-то далеко-далеко за горизонт...

На спуске к Енисею, в самом начале улицы Декабристов, был большой деревянный дом, куда мои родители ходили голосовать. В самые первые годы, когда меня надо было ещё таскать за собой, меня таскали и на выборы. Там было очень тесно, ящик с прорезью стоял совсем рядом со столом, где выдавали бюллетени. Достаточно было только развернуться. Мама с папой вручали мне эти два листка, и я старательно пропихивала их в прорезь ящика. Помню, что всё было празднично, кругом висели красные флаги и транспаранты, и наверняка — спорить готова, что наверняка, — висел транспарант «Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!». Ну и «Народ и партия едины», конечно. Так что выборы тогда воспринимались не как именно *выборы*, когда и от тебя зависит, какой из портретов на стенке выберут, а просто как символ поддержки решений далёких «партии и правительства». Поэтому всё было так легко и просто.

Года в два меня отдали в садик. Теоретически с садиком нам повезло. Одну из моих приятельниц

со двора каждое утро возили на Злобино. Это было не просто далеко, это было невообразимо далеко. А учитывая, что личных машин тогда не было ни у кого, добираться надо было с пересадками на автобусах. Наш же садик располагался в полукварталах от нас. Раньше там был какой-то особнячок для начальства из «Красутля», но очень скоро его передали гороно. Главной особенностью здания была круглая главная комната. Там ели, играли, праздновали, на тихий час перебираясь в три квадратные спальни. Но эта — главная — была круглой. Единственный реальный угол, в который могли поставить, образовывался между стеной и пианино. Других вариантов не было.

Садик я ненавидела. Вернее, я категорически не хотела ходить в садик, до тех пор пока мне не вбили мысль, что ходить *надо*. То есть принять садик как неизбежность мне удалось годам к трём. До этого, как рассказывала мама, каждое утро становилось кошмаром для родителей. Папа вытаскивал на руках меня из дома и отправлялся «на прогулку», нарезая круги по окрестным улицам. Задачей являлось попасть в садик неожиданно, когда я потеряю бдительность и запутаюсь в поворотах. Если же я осознавала, что мы опять идём в ненавистном направлении, я устраивала такой рёв, что папа разворачивался в любую сторону, изображая продолжение «прогулки». С каждым днём пройти этот квест становилось всё труднее, а я успешно тренировала зрительную память, запоминая все ориентиры в районе.

Кстати, я была права. Ничего хорошего этот садик мне не дал, и в тёплых воспоминаниях о моих «ломоносовских-боградских» годах есть единственное противное тёмное пятно — детский сад на углу Горького и Богда.

Воспитательницей в нашей группе была некая Неля Васильевна (вообще-то Нелли, но выговорить тогда это было трудно, так что пусть так и останется). Мама часто говорила: «Как вам повезло! Она и поёт, и танцует!» В общем, она была очень хорошая, и её надо было слушаться. А если ты не будешь слушаться хорошую Нелю Васильевну, ты, соответственно, будешь плохой девочкой. Когда меня забирали вечером, она глядела на маму глазами великомученицы («А ваша Лена...»). Что уж я такого творила страшного, я не понимала ни тогда, ни теперь. Ведь меня даже ни разу не ставили в угол! Ни между стеной и пианино, ни в квадратных спальнях! Но я была виновата в том, что чем-то расстраивала нашу хорошую воспитательницу и тем самым была плохой девочкой. И это стало ловушкой.

Я разрывалась от желания рассказать родителям о том, насколько мне плохо, как меня обижают Неля Васильевна, как меня дразнят девчонки, безошибочно почувствовавшие «нелюбимца», но я понимала, что нельзя, потому что тогда мама

и папа узнают правду обо мне, о том, что я плохая девочка... Именно тогда и началось то, что огорчало мою маму потом многие годы. Я отшатывалась от объятий, от поцелуев, подсознательно чувствуя себя недостойной любви. Даже когда забылась причина всего, осталось и прочно укоренилось чувство несоответствия «идеалу»...

Впрочем, некоторые приятные воспоминания всё же были. Так, на последний новогодний утренник меня назначили на единственную отрицательную роль — Лисы, которая хотела сделать что-то плохое, чтобы сорвать праздник, но ей помешали Дед Мороз и Снегурочка при содействии героических зайцев. Выбор Нели Васильевны, наверное, объяснялся не только моим «отрицательным имиджем», но и хорошей памятью, способностью с лёгкостью запоминать «слова». Зато на фоне однотонных снежинок и зайчиков я гордо выделялась ярким оранжевым платьем с настоящим лисьим хвостом, при том что три мои самые главные врагини изображали всего лишь тройку лошадей в санях главного положительного героя.

Апофеозом наших взаимоотношений с Нелей Васильевной стала история с сарафанчиком. Наш садик имел свою дачу в посёлке Удачный на берегу Енисея. То есть летом нас вывозили «на природу», где мы жили «на свежем воздухе» — со спальнями, столовыми, умывальниками и туалетами на улице и резервом горшков в деревянных корпусах. Почти что нормальный пионерский лагерь нашего недалёкого будущего, с учётом только того, что нам было всем по пять-семь лет.

Мне было тогда шесть. Перед той поездкой на дачу мама сшила мне жёлтый сарафанчик. Каждое утро начиналось с того, что дежурная нянечка открывала наши чемоданы, вытаскивала поджущую, по её мнению, на сегодня одежду и развешивала на спинки кроватей. До сарафанчика очередь всё как-то не доходила. Мама, приезжавшая ко мне чуть ли не каждый вечер, предложила просто попросить нянечку выдать мне этот сарафанчик. Если бы она знала, чем всё это закончится...

Тем утром мы лежали в кроватях, ожидая подъёма, и я шёпотом поделилась с соседкой своей надеждой попросить и получить. Моя наивность столкнулась с её уже сформировавшимся интриганством. Соседка хмыкнула и обратилась к проходившей мимо нянечке «Тётя... а Лена Акимова вам что-то сказать хочет». Нянечка обратила ко мне тяжёлый взгляд. Заикаясь, я выговорила: «А мама просила... сарафанчик жёлтый...» Сначала ничего не произошло. Мне что-то кинули на спинку кровати. Всё началось во время завтрака. Нянечка подошла к Неле Васильевне и что-то сказала ей, махнув рукой в мою сторону. Та развернулась ко мне: «Заканчивай есть. Пойдём надевать сарафан». Чемодан был уже раскрыт, вещи

вывалены, мой несчастный жёлтый сарафанчик висел на крышке. С меня содрали утреннюю одежду и захихнули в сарафан.

Утро было прохладным. Все наши ходили в костюмчиках «с начёсом», меня же вытолкнули из корпуса почти раздетую. Я помню своё состояние в те минуты. Напротив стоит моя хохочущая группа, показывая на меня пальцами, а я гордо иду вдоль ограды, собирая разлетающиеся прозрачные одуванчики. Я не редела, я была камнем... Маме я рассказала эту историю только несколько лет спустя.

В своё последнее детсадовское лето на дачу я не поехала. Именно в этот год погибла девочка из нашей группы. Она играла под обрывом, который и рухнул на неё. Только через несколько часов мальчишка, сын «подменной» воспитательницы, ковырявшийся сверху и, по сути, устроивший этот обвал, рассказал взрослым, что Олю засыпало землёй. Сама же Неля Васильевна спохватилась, что ребёнка нет, только когда стала собирать группу на обед. Не сомневаюсь, что всё это время она сидела под кустом, наклеив на нос подорожник. Олина мама на суде не винила воспитательницу... Она такая хорошая, она поёт и танцует...

Все первые годы моей жизни, свободные от «садика», я проводила в Ачинске. Из Ачинска были мама и папа, там прошло их детство, там жили их родители. Папиного папу — Дмитрия Филипповича — я уже не застала, а мамино папу — собственно дедушку, деду Броню, Бронислава Викентьевича, — я помнила из того же самого раннего моего детства: мы идём с ним по улице мимо штакетника чужого дома, из-за которого выглядывает добрая бабушка и дарит мне цветочек. А дедушка бережно держит меня за руку, улыбается и передаёт мне этот цветочек, до которого я сама бы не дотянулась... Он умер в возрасте пятидесяти восьми лет, когда мне было три года. Мы приехали с мамой и Виталиком в Ачинск. Все суетились, она плакала... Были телега с соломой, лошадь в оглоблях и самый молодой из моих дядей — дядя Миша, с которым меня оставили. Помню, что было очень много людей — «пол-Ачинска», как потом говорила мама. Ту потерю я не осознавала — пугала сама обстановка сосредоточенности и разлитого в воздухе состояния страха и растерянности.

Вообще, Ачинск был частью нашей жизни. Мы всегда ездили в Ачинск — сначала на ночном «абаканском» поезде, позже на электричке, в Ачинске были все наши родственники, а улица Свердлова в Ачинске, казалось, была единственной улицей Свердлова на свете. Именно на улице Свердлова расселилась вся наша родня по маме — все Альхимовичи, Посницкие, Целинские, Грицуки... До папиных Акимовых надо было идти на улицу Ленина, где был их маленький домик с высокой лестницей и крохотным палисадником на две

грядки. Кроме кухоньки с печкой и кладовки, там была малюсенькая комната, куда, по моим понятиям, никак не могла вместиться папина семья из семи человек.

Мамин дом — дом Альхимовичей — был намного просторнее. Кроме веранды, кухни, чуланов, были ещё две комнаты, по которым можно было бегать. На окнах стояли разноцветные герани, а на полу в кадке — огромный фикус. Во дворе — стайка, сарай, летняя кухня и огромный огород. Этот огород и спасал их семью во время войны, когда дедушка ушёл на фронт, а бабушка осталась с тремя маленькими детьми. В общем, это был мой «домик в деревне», о котором мечтают современные любители сметаны.

Образом жизни того времени были визиты к родственникам. Я почему-то не помню визиты к соседям, но вот по бабушкиным сёстрам мы ходили постоянно. Меня, по малолетству, баба Маня таскала с собой. Кстати, обращались мы к ней именно так: баба Маня. Наверное, чтобы не запутаться в обилии бабушек. Мы двигались вдоль улицы Свердлова, заворачивали к нужным домам и долго-долго гостевали у бабы Нюры, бабы Рузи, деды Стаси, дяди Лёвы, тёти Оли и «бабушки старенькой», моей прабабушки, которую все по-польски называли бабчей. Бабушки пили чай и беседовали, а я занималась всем, что подвораживалось под руку или глаз, — кошками, курами, деревяшками, тряпочками... У меня было детство! Правда, в этом детстве не было велосипеда и меня не подпускали к лошадям. Мой брат даже ездил с дедой Стасей в ночное... Понятно, что меня не брали. Я вообще даже не сидела ни разу на лошади! Даже в парке Горького не было у нас тогда добрых лошадок и пони, катающих мальчиков и девочек по кругу.

На улице Свердлова было много детей моего возраста, и старше, и моложе, и вся бурная наша жизнь — с прятками, догоняшками, «колечко-колечко, выйди на крылечко» — протекала вдоль улицы. Когда мой сродный брат Серёжка подрос до того, что смог резво ковылять вокруг дома, мы отправлялись с ним «смотреть Бабая». Для этого надо было осторожно (на цыпочках!) пробраться до конца стены нашего дома и заглянуть за угол. Там через проход начинался двор соседей с воротами вытянуто-округлой формы, из-за вырезанных наверху овалных отверстий чем-то напоминавшими огромное человеческое лицо. После этого надо было громко заорать и ринуться назад. Так как эту процедуру мы проделывали по несколько раз на дню, баба Маня переставала реагировать на наши вопли. Иногда к нам с Серёжкой присоединялись более мобильные соседи, и тогда орущая толпа неслась по всей улице Свердлова.

Где-то недалеко, но уже «за Свердлова», был авиагородок с курсантами в голубых тужурках,

а совсем далеко были Чулым с Типяткой. Чулыма, в отличие от Енисея, я очень боялась, потому что там были «ямы», в которых регулярно кто-то тонул из ачинских детей, в том числе и с нашей улицы.

Телевизоров на улице Свердлова не было ни у кого. Помню, как собирались мы всей роднёй у проигрывателя и в который раз слушали пластинку Райкина («Я флюгер, поставлен я на крыше...»). Я тогда знала все эти интермедии наизусть и могла повторить от начала до конца, полностью копируя райкинскую интонацию.

Ачинск начала шестидесятых стал для меня, говоря официальным языком, мощнейшей школой интернационализма. На нашей улице жили вперемешку русские, поляки, евреи, и национальный вопрос не поднимался никогда. Вся моя польская родня никогда не обсуждала при мне свою «особость». Жили и жили... Кто-то сохранил язык, кто-то ограничивался кратким спектром ругательств, но в любом случае в русской речи встречались привозные словечки, звучащие вполне органично. По крайней мере, бабушкина угроза: «Как по дупе надаю!» — в переводе не нуждалась. Так что только в школе до меня дошло, что некоторые слова мои одноклассники не понимают. А я не понимала, почему говорят «катушка ниток» — правильно, а «юрок» — неправильно. В общем, национальная принадлежность воспринималась как цвет волос: кто-то блондин, кто-то брюнет. Даже традиционный польский антисемитизм в Сибири как-то растворился. Во всяком случае, рассказ, как дядя Фрейман говорил: «А мы — коренные сибиряки!» — воспринимался как забавное чудачество.

Как-то мимо нашего дома шёл пьяный мужик и вовсю горланил «Черемшину». Баба Маня, вышедшая на улицу, дала нам с Серёжкой сигнал заткнуться и с наслаждением слушала русифицированную мову, то ли упиваясь самим пением, то ли звуками, чем-то напоминающими родную речь.

Некоторые проблемы моей польской родне доставляла верность католической церкви. Костёла в Ачинске тогда не было, и по домам висели чудом сохранившиеся иконы, перед которыми бабушки и шептали молитвы вечерами на чужом языке. Также по домам тайно крестили. Через много лет я узнала, что меня, совсем маленькую, крестила прабабушка, при этом мой папа — русский, атеист и член партии — «был в курсе». Так и жили на компромиссах: коммунисты разрешали крестить детей, а католики по праздникам шли в православную церковь... Но все эти религиозные вопросы проходили мимо нас. Нас, детей, никто не принуждал, не заставлял, но и выказывать неуважение к вере считалось недопустимым. Можешь не верить, не молиться, но крестик твой — вон в коробочке, а если заболеешь, то между приёмами лекарств бабушка пошепчет в баночку с водой.

Во время семейных разговоров иногда проskalзывало что-то об истории польского рода, заброшенного в Сибирь, как, впрочем, и о том, что в начале двадцатых годов вся многочисленная семья Посницких сделала попытку уехать в Польшу. Попробовали, пожили, побатрачили и вернулись в Ачинск, который уже считали своим домом. Про тридцатые годы мама мне рассказала чуть позже. Тридцать седьмой перемолол многих, просто у поляков список вражеских разведок был несколько шире... Даже в шестидесятые мама ещё панически боялась милиционеров, давние предшественники которых когда-то волокли к «воронку» моего парализованного прадеда... Но всё это я узнала чуть позже, в семидесятые годы, сильно отличаясь этим знанием от абсолютного большинства своих ровесников.

Польскому языку нас никто не учил, хотя баба Маня владела им свободно. От мамы я запомнила только коротенький стишок: «Пшишла една пани до други пани и муви: „Я пшишла до вас, пани, почижите лёндра. Мая пани таки флёндра, же не купи соби лёндра“». В общем, «лёндра» — кастрюля, а «флёндра» — неряха. Остальное всё понятно. Передавалась легенда, как кто-то из дедов в Польше перепутал слова «куфэлек», «кувэлек» и «кубэлек», попросив в какой-то забегаловке вместо кружки пива ведро. Вроде бы никто не удивился: из Сибири, чай, приехали...

Кстати, признание себя сибиряками не имело никакого отношения к какой-то там «национальной гордости». Ну, живём мы в Сибири, да, морозы у нас, — ну и что? Поэтому в те годы фильм «Сказание о земле Сибирской» вызывал у меня, как, впрочем, и у всех остальных, независимо от национальности, чувство некоторого непонимания. Что уж за такие особенные «сибирские песни», что уж за такое поклонение Ермаку? Чего эти тепличные москвичи придуриваются?... Хотя москвичей на улице Свердлова никто живём и не видел, отношение к ним было традиционно снисходительно-пренебрежительным.

Нравы на нашей многонациональной рабоче-крестьянской окраине были довольно простыми и суровыми. Пошли к соседям старшую дочь сватать, а той дома не оказалось, ну и сосватали младшую. Какая разница?... Зато, когда мама робко призналась родителям, что вообще-то собирается замуж, причём знает за кого, это было воспринято как крушение устоев, вплоть до лишения непокорной дочери (и племянницы всех тёть и дядей) хоть какого-нибудь приданого. Во всяком случае, обещанный одною из тёток кружевной накомодник маме так и не достался...

Но Ачинск — это было лето. Всё остальное время года мы жили в Красноярске, на своей улице Ломоносова. Впрочем, на третьем году моей жизни мы получили квартиру на улице Богграда. Это

было совсем близко—улицы шли параллельно, и если бы не было заборов и стаяк, то добежать от старого дома до нового можно было бы за две минуты. Начинаясь «боградский» период моей жизни, более осознаваемый, чем «ломоносовский», но, наверное, не менее счастливый. До сих пор, проходя мимо дома номер девяносто семь по улице Богграда, я испытываю желание вернуться... Пусть не в детство, просто в ту нашу хрущёвку с низкими потолками, тонкими стенками, совмещённым санузелом...

Совсем рядом с нашим домом по Ломоносова и через дворы от дома по Богграда была школа номер девятнадцать, где работала моя мама, Анна Брониславовна. Как бывают дети, выросшие при театре, так я выросла при школе. Когда в садике объявляли очередной карантин, я перебиралась в школу «с вещами». Чуть ли не весь последний год перед школой, богатый на такие карантин, я просидела за последней партой в первом классе у Веры Львовны в статусе то ли дополнительного вольноопределяющегося ученика, то ли внештатного надсмотрщика («Лена, кто себя плохо вёл, пока меня не было в классе?»). Я очень стеснялась таких вопросов и, к стыду своему, тыкала пальцем в тех, кто, по моему разумению, «плохо себя вёл». Впрочем, претензий ко мне не было... К другим «посидеть» меня не пускали, и я поневоле больше крутилась вокруг ребят из маминого класса. Они уже оканчивали школу и казались мне очень большими и взрослыми. И все они слушались мою маму. Моя мама была учительницей! Однажды, уже лет в семь-восемь, я оказалась свидетелем разноса, который устроил папа Виталику за двойку по географии («Это что же такое?! Мать—географ, а сын географию не знает!»). Мама молча сидела за столом и не опровергала эти слова. Но ведь она же учительница, а не географ!!! Я чуть не разревелась от обиды, от осознания того, что меня обманывали всю жизнь!

Повседневная жизнь девятнадцатой школы в середине шестидесятых была отмечена бедой. Я не чувствовала её, бегая по коридорам, я просто знала, что она есть. В конце августа 1964 года, пытаясь спасти маленькую девочку из огня, погибла пятиклассница Лида Прушинская. Её портрет висел в самой широкой части коридора. Иногда в школе появлялись корреспонденты, которые пытались вытянуть воспоминания из учителей и одноклассников. Как я поняла чуть позже, им рассказывали, немного стесняясь, что Лида не была отличницей, была просто тихой, незаметной девочкой с длинными косами...

Школа была очень маленькой, и вскоре её сделали начальной, а потом и вовсе закрыли. Учителей распределили по другим школам, и мама несколько лет бегала по пронизываемому всеми ветрами виадуку над железной дорогой, чтобы

попасть в школу номер семьдесят пять «на горё». Автобусы туда не ходили. Девятнадцатая же потихоньку сворачивала свою деятельность, сокращая набор первоклассников и медленно уходя из нашей жизни. Люду Бублик—мою соседку и по Ломоносова, и по Богграда, бывшую на два года старше меня,—ещё отдали в первый класс в девятнадцатую, а меня уже записали сразу в седьмую школу на Красной площади. Мне тогда казалось, что между нами пропасть: если ей ещё выпало носить в тряпочном чехле чернильницу-непроливашку, привязанную к портфелю, то нас учили уже писать авторучками. Так что носить непроливашку судьба меня миновала, хотя писать в те карантинные времена я училась именно так, тыкая перьевой ручкой в чернильницу.

Иногда во время детсадовских карантинных меня приводили не в школу, а на работу к папе. Их контора находилась на улице Марковского, в двухэтажном доме с широкой деревянной лестницей и буфетом под ней. Меня сдавали женщинам в машбюро. В треске пишущих машинок я не мешала никому.

Папа мой, Василий Дмитриевич, работал в управлении хлебопродуктов главным инженером. Времена, когда он месяцами мотался по целине в Хакасии, строя там мелькомбинаты и хлебоприёмные пункты, видимо, я не застала. Наверное, это была середина—вторая половина пятидесятых. При мне папа ездил в недельные командировки на «газике»—первой и долгое время своей единственной служебной машине. Города и посёлки края становились моими первыми географическими названиями, что нередко выручало при игре «в города»: Канск, Заозёрный, Ачинск, Абакан, Минусинск, Уяр, Назарово, Шарыпово, Сухобузино, Камарчага... Впрочем, тогда, в шестидесятые, символом папиной работы для меня был, пожалуй, чёрный чугунный лось, украшавший его стол в кабинете.

Улица Богграда с детским садом на углу упиралась в парк имени Горького. Его так и звали все: парк имени Горького. Тогда не было этой широкой аллеи, появившейся к столетию Ленина вместе с памятником на площади Революции. По идее креативщиков из крайкома партии, Ленин должен был смотреть на Енисей, а узкие тенистые аллеи парка этому явно мешали. И вот перед этим эпохальным юбилеем вековой парк был реконструирован... В шестидесятые же он был другим: уютным, домашним, с маленькими фонтанами, украшенными копиями скульптур Эрмитажа и фигурами героев басен Крылова. Точно помню, был «Мёртвый мальчик на дельфине» Лоренцо Лоренцетто. Выбор, наверное, не самый удачный для парка, поскольку дети ревели, несмотря на уговоры родителей, что мальчика непременно спасут, как только добрый дельфин доставит его

на берег. По крайней мере, мне объясняли именно так. Только несколько лет спустя, увидев путешевдителя по Эрмитажу, я с грустью узнала, что всё совсем не так хорошо закончилось. Ещё были волк и журавль, запечатлённые в самый кульминационный момент басни. И были памятники Пушкину, Кирову и самому Горькому, единственные, кажется, дожившие до сегодняшнего дня. Впрочем, машущего руками Кирова потом убрали. В парке были карусели с фигурками осёдланных животных разных пород, качели в виде лодок, что-то ещё. Но самой главной гордостью парка была детская железная дорога. Она была подлинной детской, потому что и машинами, и проводниками были школьники. Так как девятнадцатая школа располагалась ближе всех к парку, а многие из её учеников были детьми железнодорожников, то основным контингентом железной дороги были именно они. Когда нас, детсадовцев, выводили гулять в парк, пользуясь его непосредственной близостью к садику, я автоматом переключивалась в ведомство детской железной дороги в сопровождении кого-нибудь из маминых учеников. Фраза: «А можно Лену покатать?» — всегда вызывала гримасу на лице воспитательницы, но так как предварительная договорённость была, меня отпускали. В то время я не знала, что называется это «блат», и с наслаждением пользовалась своей привилегией учительской дочки.

В противоположном направлении улица Богграда шла мимо комбайнового завода прямо к железнодорожному вокзалу. Это было очень удобно, учитывая необходимость и уезжать в Ачинск ночью, и возвращаться из Ачинска гружёнными банками с клубничным вареньем. Напротив комбайнового завода располагался магазин, носивший неофициальное название «стахановский». Говорили, что после войны там отоваривались заводские стахановцы. Время это давно миновало, но название закрепилось прочно. Это был главный магазин моего детства. Во время наших регулярных походов в «стахановский», когда мама стояла в очередях, я смиренно ждала её у подоконника. Однажды, истомившись в ожидании, я машинально засунула палец в металлическую решётку, закрывавшую батарею. И застряла... Не помню, кому удалось меня вызволить, но помню, как целая толпа покупателей всех возрастов сгрудилась вокруг нас, успокаивая, уговаривая, одновременно пытаясь найти виноватых и какого-нибудь слесаря с инструментом.

Сегодня я смутно припоминаю небогатый набор товаров в «стахановском», но был магазин, богатство выбора в котором запечатлелось в моём сознании намертво. Уже в семидесятые годы, выстаивая огромные очереди в «Диете», чтобы сразу купить на месяц масла и на три дня молока, заодно сдав набитую сетку пустых бутылок, я вспоминала

молочный магазин на углу Богграда — Робеспьера как детскую сказку, в которую уже перестаёшь верить... Там было масло солёное, несолёное и шоколадное; кроме молока разной жирности и кефира, были варенец и ряженка; густая сметана на разлив; сгущённое молоко плюс кофе и какао со сгущёнкой. Всё это изобилие закончилось в конце шестидесятых...

А вот некоторое изобилие с детской одеждой, как ни странно, закончилось как раз в начале шестидесятых. Как рассказывала мама, если у Виталика ещё были всякие разные костюмчики, то со мной уже начались проблемы... Шубку, курточку и штанишки я донашивала за братом, всё остальное надо было шить самим. При мне мама записалась на курсы кройки и шитья в парке, что на долгое время обеспечило мне скромный, но вполне приличный девчачий гардероб. Памятью же о пятидесятых годах в нашей семье оставались китайские комплекты «Дружба», в которые мы наряжались в холодные ночи. Последние кальсончики ушли на тряпки где-то в восьмидесятые, прожив с нами чуть ли не тридцать лет...

Где-то к середине шестидесятых пропали и фрукты. Тогда же был разрушен и магазинчик на перекрёстке Богграда и Робеспьера, среди всего прочего унес с собой вид, цвет и запах бананов. Они были там, точно были! Родившиеся на пару лет позже меня видели бананы только на картинках, а я помнила эти жёлтые гроздья, помнила движение руки, сдиравшей шкурку, которая сразу же разваливалась на три длинных лепестка... А потом стали исчезать и овощи. Продовольственная проблема встала перед нашей семьёй в полный рост... Сначала она как-то решалась поездом из Ачинска, а потом на папиной работе стали выделять участки земли под огороды на окраине города. В тот самый первый день, когда протаптывали первые тропки вдоль деревянных колышков, родители привезли меня «в сад». Огромное чёрное поле, разделённое на шестисоточные куски, с десятками людей, лихорадочно осваивающих это пространство. Я носилась вдоль своего прямоугольника, отмеченного колышком с нашей фамилией, ошарашенная атмосферой восторга и растерянности вокруг. Сейчас мне кажется, что за всю жизнь я не видела такого выражения счастья на маминем лице. Так начинался наш кормилец Бугач, отрада и каторга нашей семьи, который никогда и никто не называл «дачей».

За несколько лет до этого садовый участок получили наши родственники в Ачинске. Разрешённые размеры домика позволяли впихнуть одну кровать, столик «а ля вагон» и место для хранения инструментов. Нам уже повезло. В наш дом можно было бы поставить уже целых шесть кроватей с железной печкой! А ещё были веранда и крыльцо. Но никаких двухэтажных домиков не было и в помине.

Так что когда в фильме «Москва слезам не верит» показывали неосвоенный участок Колиных родителей с мощными новостройками на заднем плане, это свидетельствовало всего лишь об отсутствии в Подмоскowie подходящей натуры. Не было этого! Кровать, столик и лопаты с граблями в углу...

Одним из главных символов жизни шестидесятых был комбайновый завод, расположенный на той же улице Богдада. На комбайновом работали наши соседи и родители моих одноклассников. Комбайновый завод строил дома в нашем районе и шествовал над нашей школой. Колонна комбайнового завода была самой главной на парадах первого мая и седьмого ноября, и на каждый праздник именно на фасаде комбайнового завода располагалась самая красивая и самая богатая по тем временам иллюминация. Однажды, осенью 1968 года, брат вёл меня из школы в то самое время, когда около проходной завода из грузовика выгружали разноцветные лампочки. Виталик пихнул меня в спину, и я со всей мерой кокетливости, которую могла из себя выдать, проговорила, глядя прямо в глаза мужчине, руководившему разгрузкой: «Какие лампочки красивые...» Не могла же я сказать: «Дядя, подарите, пожалуйста, лампочку»? Но он понял меня совершенно правильно... Как же я благодарна ему до сих пор за то ощущение счастья, с каким неслась домой, прижимая к себе трофей! Пристроить лампочку удалось в туалет-ванную, где она и светилась обалденно малиновым цветом. Конечно, видно было плохо, но какое значение это имело?! Через несколько месяцев мама решила эту лампочку помыть — на этом счастье и закончилось...

Окна нашей квартиры выходили на радиозавод, занимавший целый квартал между Богдада и Карла Маркса. Но, в отличие от комбайнового, радиозавод был только ориентиром на местности: «вокруг радиозавода», «за радиозаводом», — хотя, наверное, у него тоже были и красивые колонны на праздники, и иллюминация на фасаде... Впрочем, вдоль радиозавода были устроены узкие цветочные клумбы, ставшие для меня начальной школой ботаники. Во всяком случае, анютины глазки были, наверное, первым декоративным цветком, название которого я выучила.

Шестидесятые годы для всей страны были временем освоения космоса. По моим же понятиям, космос был освоен давно и прочно. С балкона нашей квартиры я всматривалась в ночное небо и по бортовым огням самолётов «угадывала», что именно летит — самолёт или ракета. Задаться мыслью, почему ракеты не летают в дневное время, я почему-то не смогла... Космос стал обыденностью. Можно было мечтать стать лётчиком, моряком,

космонавтом, врачом, учителем... Может, поэтому я очень удивилась (именно это чувство было более сильным), когда весной 1968 года услышала разговор соседок на скамейке: «Какой человек был! Как же не убереди то?..» Погиб Юрий Гагарин.

Вообще, история тогда была очень спрессованной и хронологически, и географически. Я была уверена, что мама видела Ленина, а баба Маня — царя. Какого-нибудь. Где-то совсем рядом была война, а полвека от Октябрьской революции — почти позавчера. И освоение космоса было столь же близким и столь же далёким по сравнению с моей ещё такой маленькой жизнью. И гибель Гагарина не укладывалась в мозг, поскольку его полёт был тоже где-то там... далеко за гранью сегодняшнего дня, вместе с революцией и войной.

Таким же спрессованным был и мир. И хотя благодаря маме я много раз держала в руках глобус, вертела его и даже кидалась им, как мячом, мой мир был всё же совершенно другим. При переезде на Богдада в нашу с братом комнату переехал старый книжный шкаф. Две полки в нём мне выделили для игрушек. И хотя и глобус, и карта полушарий, да и здравый смысл говорили мне, что мир широкий и простирается далеко-далеко, уходя за горизонт, но мне всё же упрямо чудилось, что Красноярск находится на одной полке, а выше — на другой полке — Ачинск. А чтобы попасть в Москву, надо перелететь на ещё какую-то полку. Ни поезда до Ачинска, ни небо над головой не убеждали в обратном. Это было как наука и религия. Да, я всё понимаю, Земля — шар и так далее, но мы живём на одном полке, а баба Маня с тётей Лёлей, дядей Толей и Серёжкой — на другой. В общем, без слонов и черепахи никак...

Мир шестидесятых был стабилен и понятен. Он был прозрачен, как те кинофильмы, снятые не в цвете, а «в градациях серого». Да, я хочу на немножко вернуться в шестидесятые, чтобы хотя бы просто пройти по нашей улице Ломоносова с необрезанными тополями вдоль деревянных заборов, вдоль кирпичного здания девятнадцатой школы. И пусть на её фасаде будут растянуты красные полотнища «Ленинизм — это будущее планеты» или «Партия — наш рулевой», пусть... Можно просто пройти по улице, ощущая покой и ту веру — не в коммунизм, конечно, а просто в счастливое будущее, право на которое мы получили победой в войне, прорывом в космос и освоением целины, памятью разрушенного комбайнового завода, девочкой Лидой Прушинской, орденами отца и деда, нашими октябрятскими звёздочками и пионерскими галстуками, нашей наивной и искренней верой в то, что руководят нами самые благородные и умные люди на свете...